
В моих стихах
весь смысл как на ладони
хотя ладонь моя
полна секретов
все эти линии
следы агоний
и ожиданий
роковых ответов.

Рождество... то... которое... Помнишь?
Нет.
Как же так ты не помнишь?
Всё это бред.
И пионы? И томик стихов Тагора?
Опьянение полночного разговора?
Обещанье запомнить и день и час...
А потом...
Ты не помнишь, как свет погас?

Белые, чистые хлопья на этой панели
В грязь превращаются. Белые, чистые – в грязь.
Город жестокий украсить они не посмели,
Он ненавидит всё чистое, не таясь.

Вот он – Шанхай. Над чудовищным месивом грязи
Льется из окон высоких прикрашенный свет,
Судьбы людские без смысла, без цели, без связи
Прячут от жизни нарядные тюль и жоржет.

Климат душевный тяжёл, ограниченны дали,
Страшно, что вакуум жизни уютен и чист.
Люди и сами смертельно уютными стали,
Тянет в болото безжалостный город-садист.

На дереве этом трезвом,
большом, узловатом, прочном,
Как сон, расцвели, как чудо
немыслимые цветы.
И стало дерево новым:
нетронутым и порочным
Раздвоенно-человечным
и снова юным, как ты.

Мы лечились Парижем. Французским и русским.
Богомольным, похабным, широким и узким.
Красота каждодневна, как хрусткий батон.
Бредит славой и гением Пантеон.
В ресторанчике русском «Вечерний звон».
Бредит...

Мы лечились Парижем. В листве зрела осень.
В облака прорывалась умытая просинь.
Пёстрый говор Метро, Сакрэ-Кер и Монмартр.
Город яркий, как ярмарка, мудрый, как Сартр,

Тасовал нас колодой разыгранных карт.
Париж!

Джакаранда роняет листву, как перья,
Оголясь, расцветает персидским цветом.
Вопреки реальности и неверью,
Возрождаюсь женщиной и поэтом.

Этот праздник кожи и обонянья
Тянет в мир таинственный – за порог,
И сомненья старые и прощанья
На развилке дорог.

Тяжесть лет свинцом на моих подмётках,
Шрамы тонкие светятся на запястьях,
Дни скользят, замолённые, как чётки,
Но весна колдует, и это – счастье!

Ясен мир размеренных занятий,
Жизнь безоблачна? Какая ложь!
Искус несомкнувшихся объятий
Заронил мучительную дрожь.

Только внешне я ещё спокойна.
Всё в душе смятенье и тоска.
Знаю: и грешна, и недостойна,
И к непоправимому близка.

Горький хмель переполняет вены,
К чистой радости не подойдёшь,
А когда сомкнётся круг измены,
Я вживусь в чудовищную ложь.

Зеркала... мы писали о них с придыханьем,
Их таинственный мир был прекрасен и молод.

Все обиды лечились волшебным касанием,
Врачевала улыбка наш тайный голод...

О предательстве зеркала всем известно:
– Кто блей и румяней? – И та, и эта...
Опасаясь, что мненье зеркал не лестно,
Не прошу у стеклянной судьи ответа.

Но порой... Проходя близ зеркал нескромных,
В голове подбирая стишок по слуху,
Я ловлю чей-то образ... Неужто маму?
Нет, не маму, а чуждую мне старуху.

СЕМЕЙНОЕ ДРЕВО

Наоми занята поисками корней.
Почему сейчас? Она говорит:
Всё изменилось. В новой России
не все пути ведут к братским
могилам.

Она пишет письма –
никого не находит на Украине –
пропали все.

В Белоруссии – никого.
А потом, после долгих поисков,
весточка из Челябинска:
Анна Ведрова.
Аня? Потерянная кузина?

Наоми объясняет – это ради детей:
я так и не расспросила маму,
а папа был скрытным... Он ведь
порвал со своей семьёй,
когда женился на маме.

Но почему?
Дети полны любопытства –
Дед – польский шляхтич,
Бабушка из клана раввинов.

Наоми пишет и возрождает годы.
Память всплывает, как снег тополей,
как парашюты-зёрна огромных вязов...
Аня, помнишь их вкус?
Дачи за нашей рекой... наша
любимая Зотовская заимка...
Сколько нас тогда было!
Отцы приезжали из города,
нагруженные фруктами...
Помнишь купальню для женщин?
Мальчишки ныряли под брёвнами,
грузные мамы визжали... Мы были
худышки. Помнишь, однажды
Сунгари разлилась?
Лодки нас развозили по городу!
Потом была эпидемия и нас застучали
во время холеры с чёрными от вишни губами...
Как ты живёшь, Аня?
Какая была у тебя жизнь?
Когда умер твой папа?
Где он родился?
Я составляю семейное
древо. С кем из родных
у тебя сохранилась связь?
Где они живут?

Анин ответ подкосил Наоми.
Позже она мне его показала.
«Дорогая Наоми, твоё письмо
было ударом грома. Я помню всё,
даже твой голос. Твоя мама пекла
замечательный штрудель. Те годы,
Наоми, были счастливейшими
В моей жизни. Я помню всё...

Это письмо ты должна обдумать.
Я овдовела и живу с дочкой.
Она хорошая девочка, но
настроена против евреев.

Понимаешь, после папиного ареста
мама поменяла нашу фамилию, чтоб
не потерять работу. Мы выдавали
себя за русских, и теперь даже
дочка меня не подозревает...

Ном, я тебя расстраиваю,
я знаю это, сестрёнка, но если ты
всё же захочешь переписываться,
пиши только на “До востребования”.

Семейное древо?

Мы жгли всё дерево
на отопление.

Это спасло нам жизнь».

При всей моей любви
К словам живым и мёртвым,
Непонятым словам,
Словам трусливо стёртым,
Я не сказала тех,
Что жгут сегодня грудь.

Шепчу себе: забудь.

Бывает ночь, когда мне тридцать лет...
Ну, пятьдесят – да ведь не в этом дело!
А в том, что ночью закипает бред,
И молодеют и душа, и тело.
И радость расцветает, как сирень,
Считаю лепестки, смеюсь и плачу.
Я не сумела удержать тот день,
Не верила, что я его утрачу.